

# Казнь Махамбета - 11/ продолжение

Category: Kitarcy, Romanlar

написано kitarcy | 24 января, 2025

Казнь Махамбета -11/ продолжение История пятая

- Разбитое сердце

– Убей! Убей хана, как предателя, как бешеного пса, что предал свой род, племя, кровь, Бога...

– Помолчи! – Исатай прервал Махамбета резко, грубо, даже зло, а такого давно не случалось. А верней сказать, никогда такого не случалось с тех самых пор, как объединились они в своем восстании. И вот теперь, казалось, злой октябрьский ветер пролетел между соратниками, расколол, разбил союз, дружбу, сердце разбил...

– У тебя, Махамбет, сердце разбито, вот и беснуешься! Или в себя придешь, или я тебя в чувство приведу, выбирай, только я это ведь больно делать буду, ты меня знаешь! – Исатай и не скрывал своей злости, так, что рука, сжатая в кулак, дрожала, будто из последних сил сдерживал себя вождь повстанцев, чтобы не причинить боль своему младшему побратиму. – Не тебе, Махамбет, о предательстве богов говорить, и не мне, беришу, на чингизида руку поднимать! Не было такого в нашем роду, чтобы законно избранного да благословенного всей Степью хана жизни лишать! Только другой торе, другой чингизид на такое право имеет, таков адат великой Степи со времен Великого Кочевника! И не нам с тобой адаты менять, раз уж мы сами за возвращение к старым обычаям бьемся, как ты сам повсюду говоришь!

– Старший мой, брат мой, наставник мой, во всем и всегда повинуюсь я тебе, но сейчас прошу, молю, на колени встану, если потребуешь..., – Махамбет бросился к Исатаю, словно и впрямь собирался рухнуть перед ним на колени, но Исатай резким, быстрым, как бросок камышового кота, движением левой

руки схватил его за отворот стеганого кафтана, сграбастал пыльную, невытую, верно, уже с несколько месяцев, ткань в свой огромный кулак. Схватил, встряхнул так, что у крепкого, коренастого Махамбета клацнула челюсть, а сам батыр, победивший не в одной борцовской схватке мужчин крупнее и сильнее себя, почувствовал себя кожаным бурдюком, полным рыхлого жира и не связанных меж собой костей – такую мощь придала руке старого воина его ярость.

Притянув акына к себе, воин и вождь повстанцев, Исатай, сын Таймана, заговорил, не отрывая темных глаз от побелевшего лица своего младшего побратима:

– На колени? Передо мной? И как ты себя после этого сможешь называть моим братом? А может лучше сразу станешь называть хозяином? Или как там у орысов – барином? А?! Да что с тобой сделала эта женщина? Что сотворила с тобой ее колдовская красота, что ты собой быть перестал, Махамбет, сын старшины Утемиса, который был беден, но горд, и ни перед кем, даже перед ханом своим, колен не преклонял? Иди! Слышишь? Иди прочь из-под моего шанырака, и не возвращайся таким, пока не станешь самим собой. Уходи прочь, похорони свое разбитое сердце, и возвращайся прежним. Верни мне моего Махамбета!

Одним, казалось бы, несильным движением, Исатай отшвырнул от себя прочь своего друга. Но широкий в кости, батыр и акын Махамбет пролетел аж до самого входа в юрту, с трудом, но удержался на ногах, и ни слова не сказав, вышел. Как ему и было велено.

Не Махамбет, но остатки Махамбета шли на его ослабших ногах, вели его покорное тело через весь лагерь повстанцев, прятавших глаза, делавших вид, что не замечают они, как идет тот, кто еще вчера зажигал их сердца, тот, на кого они хотели быть похожим, а ныне только усталая память о былой силе и гордости смотрит из впалых глазниц над резкими скулами, обтянутыми почерневшей кожей. Не Махамбет, но робкая память о нем, из последних сил обошла холм, чтобы повалиться на глинистый берег

у ручья, протекавшего через весь лагерь, и дальше, к самой ханской ставке, вот уже третий день осажденной войсками повстанцев.

Осада ханской ставки должна была покончить с самим этим восстанием по замыслу Махамбета, не того, что нынче был похож лишь на руины себя – прошлого, но того Махамбета, который родился воином, и жил им все то время, пока не встретил свою судьбу на проклятом приеме у генерал-губернатора. Судьба эта стала любовью и судьбой другого человека, друга, покровителя и законного правителя его. И потому, согласно замыслу, хан должен был погибнуть. Быть убитым, растерзанным яростью повстанцев за то, что предал адат-обычай, сошел с дороги предков, пытался сделать из степняков... что же он на самом деле пытался из них сделать? Неужели ханша была права?..

Разбитый человек у ручья затряс головой, и в этот миг более всего он был похож на старика, чьи годы на излете, силы – на исходе, а разум и вовсе на закате. Еще вчера он был иным, сильным, строившим виды на будущее, в котором он был бы единственным обладателем той, что ныне принадлежит другому. Но – нет! Сегодня вождь и побратим, старший во всем, Исатай, отказался его понимать! А ведь такая удача выпадает только раз в жизни – застать хана врасплох, запереть в ущелье, одного, без поддержки, которая, если медлить, непременно придет, уж слишком крепка в степняках преданность наследию Великого Кочевника, преданность, выраженная в верности потомкам его, носителям крови чингизидов – торе! Впрочем, нет в Степи нынче силы, способной побороть храбрейшего и мудрейшего из ныне живущих военачальников-сарбазов во всей Бокеевской Орде, и любой, кто придет, будет побежден Исатаем, чьи войска многочисленнее любой другой силы среди степняков, а слава о силе его бежит вперед, гонимая людской молвой быстрее ветра. Только Империя могла бы справиться с ним, но русские не вмешиваются в проблемы кайсаков, оставляя их разбираться самим в собственной политике.

Вчерашний Махамбет догадывался о том, что склонить Исатая к

штурму ханской ставки и убийству самого хана будет трудно. Сам Исатай, когда только ставили осаду вокруг ханского аула, заявил, что намерен вести переговоры, добиться от хана наказания Карауылкожи, отмены всех прежних указов-фарманов, и прилюдного признания верности адатам предков. После чего вновь наступил бы в Орде мир. Но Махамбета это не устраивало, и тогда ночью решился он на дерзкое проникновение в ханскую ставку, к самой ханской юрте... не за тем, чтобы убить хана Жангира, но чтобы разбить ему сердце, украв у него самое дорогое, что только может быть у настоящего мужчины – его любовь!

+ + +

Темной ночью, черным врагом пробрался он в самое сердце ханской ставки, обманув людей хана дерзкой, уверенной поступью своей – так шел он по лагерю, накинув поверх рубахи богатый шапан, подаренный когда-то ему самим ханом. Для пущей убедительности предварительно нашил на плечи шапана по эполету, какие бывают у русских офицеров – манеру эту придумал никто иной, как сам Карауылкожа, еще несколько лет назад введший эту позорную моду среди прочих соратников Жангир-Керея, таких же, как он сам, воспитанных орысами из детей аманатов в собственные смешные пародии. Кто ни посмотрит – сразу поймет, вот идет один из тех, кто вместе с ханом учился в Астрахани, товарищ гимназических лет его, верный слуга, потому как никому другому и не достать таких пышных эполет золотого, витого шнура, и никто другой не посмеет с такой уверенностью идти не в юрту, где хан обычно совет держит, и где его походный рабочий кабинет обыкновенно располагается, но в бревенчатый домик – точное, но уменьшенное подобие недавно построенного в Нарын-песках дворца для самой любимой из жен хана, Фатимы. Бревна для этого домика возили отдельным обозом при каждом перемещении ханской ставки, и каждый раз строили заново, в точности повторяя все, от внешней отделки до внутреннего убранства.

От доверенных людей в лагере Махамбет знал, что в это время

Жангир-Керей совершает намаз в обществе своих ближайших слуг и родичей, имамом же в молитве служит мулла, назначенный из самого Оренбурга, по рекомендации Мухамеджана-ходжи, почтенного отца Фатимы. А значит, сама Фатима должна быть одна, занимаясь... чем они там занимаются, эти женщины, воспитанные русскими? Махамбет вдруг задумался о том, что он, на самом деле, вроде бы собрав столько сведений о Фатиме, совершенно не знает женщину, покорившую его сердце и ум! Вот, скажем, женщины степняков – известно, чем они в такое время могут быть заняты, и даже о чем думают, не самая великая тайна. Дети, уют в юрте, да кипящий казан на очаге для усталого от ратных ли дел, от ухода за скотом ли, мужа. Весь мир жены степняка строится вокруг ее семьи, особенностей кочевого хозяйства ее, да из забот о благополучии всего аула, если муж – бай, или хотя бы староста.

Но чем может заниматься женщина, которая не обременена хозяйством, чья красота делает ее мужа настолько покорным, настолько заботливым, что он в проявлении любви своей снимает с нее все бытовые заботы, которые, как мыслит Махамбет, и есть смысл жизни для любой женщины? Что делают все эти жены русских офицеров и губернаторов, когда их мужья заняты своею службой? Все свое представление об русских женщинах Махамбет складывал из того, что ему удалось увидеть и понять за время жизни в Астрахани и Оренбурге. Увидеть удалось немного, понять же и того меньше, и потому жизнь русской жены, русской хозяйки казалась ему праздной, лишенной истинного смысла, отсюда и к мужчинам русским отношение у Махамбета было несколько презрительным. И все же Фатима не была русской, а значит, это отношение не распространялось на нее. Не была она и степнячкой в полном смысле, а значит ничего на самом деле не знал о ней Махамбет, и любил, получается, не просто женщину, но большую тайну, неведомое и новое, скрывающееся за пределами известного ему мира.

Для того, кому учителя-суфии эти границы расширили за пределы невозможного, всякая тайна была вызовом. Но эти же учителя-

суфии ничего не рассказывали ему про женщин. Эта величайшая из тайн вселенной пугала Махамбета, несмотря на то, что он сам был уже и дважды женат, и обзавелся детьми. Женщины собственного племени всегда любили Махамбета, он привык к этому сызмальства, их гордость, недоступность, дерзкий нрав проявлялись по отношению к другим, но обходили его стороной, будто создан он был для любви женщин, для почитания ими, всегда признавали они его мужественность, отвагу, видели в нем опору, защиту, дар же певца-акына еще больше распался их сердца, делая беззащитными перед его страстью ли, прочими ли желаниями! Верить в силу мужчины, видеть в нем защитника – уже зачастую довольная причина для женского сердца, а когда к этому впридачу идет еще и талант мастера слова – сердце редкой красавицы устоит перед таким жигитом! Настолько редкой, что среди своих соплеменниц таких Махамбету и не встречалось. Но обратной стороной дела стала уверенность в себе, и полное незнание, непонимание женщины, как человека, равного себе, такой же личности, имеющей свою силу, свой дар...

– Куда идете, агай? Хан сейчас в мечети, его здесь нет! – голос сарбаза, вооруженного старинным мушкетом, несущего свой пост у самого крыльца деревянного домика ханши, вывел Махамбета из раздумий.

Повезло – жигит оказался из новеньких, видимо, из тех, кто пришел к хану на службу недавно, уже после начала восстания, и потому не узнал бывшего наставника ханского сына. В сердцах обругав себя последними словами за такую беспечность и риск, Махамбет, тем не менее, гордо поднял голову и заговорил с презрением в голосе:

– Я не хуже тебя знаю, где сейчас наш хан, солдат! Я здесь с его ведома и дозволения, с письмом к ханше от ее отца, почтенного ходжи Мухамеджана Гусейнова!

Письмо при Махамбете действительно имелось, и оно в самом деле было от отца ханши, оренбургского муфтия Мухамеджана, только было оно старым, и адресовалось не дочери, но самому

Махамбету. И, тем не менее, бумага с убористой арабской вязью, которой Махамбет принялся размахивать перед носом у ошарашенного жигита, явно ненаученного читать язык Корана, сделала свое дело: сарбаз смутился, и даже попятился, будто боясь, что бумага со священными письменами навлечет на его голову проклятие Творца Миров, да благословенны будут тысячи имен Его! Ведь кто его знает, что оно там написано, в этих бумагах, верно только муллы ведают, а с ними связываться себе дороже. Как и вызывать недовольство приближенных хана Жангира, к коим, безо всякого сомнения, относился этот коренастый, низкорослый человек с обритым наголо черепом и пронзительным взглядом черных, как ночь, глаз. Вон, какие золотые эполеты себе на шапан нашил, и обратился не по степняцки, не жигитом назвал – солдатом! Точно – из этих, что среди орысов воспитаны, из бывших аманатов! Ханша таких порой принимала и без присутствия хана, но всегда – с его ведома.

Растерялся сарбаз, приуныл, отступил в сторону, пропуская такого важного человека к крыльцу, а тот, даром что невысок, прыг-скок на кривых, крепеньких ножках, и уже перелетел через ступени лестничные, дверь открыл без стука, вошел, и закрыл за собой – аккуратно так, видимо, чтобы не беспокоить!

В сенях встретила Махамбета сама ханша, видимо, услышавшая разговор с постовым сарбазом, и спустившаяся из светлицы, чтобы принять письмо от отца:

– Ассалам алейкум, ага, письмо от уважаемого отца моего принесли? Благодарю вас! – казалось, Фатима не замечает лица вошедшего, не различает, кто он таков, и только письмо интересуется ее, так спешно она чуть ли не вырвала бумагу из руки Махамбета, принялась читать, быстро, про себя, лишь слегка, совершенно беззвучно, шевеля губами.

Махамбет залюбовался ею: цепкий, умный взгляд, устремленный на вязь письма, чуть выделяющиеся скулы, как оно и бывает у татарок, широкий, будто крылья беркута, разлет тонких, ухоженных бровей, которые на глазах сводятся в недовольстве,

складывая морщинку на переносице над небольшим носиком...

– Ты... самозванец?! – наконец поняла ханша, и взгляд ее, устремленный наконец, прямо в лицо вошедшему, не сулил ничего хорошего. Впрочем, кричать и звать на помощь эта женщина так же явно не собиралась, и даже какое-то узнавание мелькнуло в ее лице. – Я тебя знаю! Ты – тот самый Махамбет... батыр и акын, бывший друг моего мужа, а ныне – изменник, бунтарь и предатель!

– А еще – друг твоего отца, ханша! – с усмешкой ответил Махамбет, дерзко отвечая на вызов во взгляде татарки.

– Это-то я уже поняла! – нехорошо, криво улыбнулась Фатима, и швырнула письмо, написанное отцовской рукой, чуть ли не в лицо Махамбету.

Письмо это было подобрано не случайно. Оно было одно из тех посланий от почтенного ходжи Мухамеджана, в которых тот довольно прозрачно намекал своему духовному сыну Махамбету, что сердце ханши не навечно занято ее нынешним супругом, что только высокое происхождение да каприз хана вынудили их с генерал-губернатором в свое время пойти на этот брак, на самом же деле еще во время первой встречи своенравная дочь его была весьма впечатлена молодым акыном, и если однажды судьба приведет к такому исходу, при котором хан погибнет, то первым, кто сможет завоевать ее сердце, будет именно он, Махамбет, и сам Всевышний не встанет против такого союза!

Махамбет с волнением вглядывался в лицо ханши, и увиденное вовсе не радовало его. Возможно, впервые в своей жизни он прочитал в женских глазах чувство, доселе никогда не обращенное к нему – жалость! Несмотря на кривую улыбку, и презрительный тон в голосе, глаза Фатимы были наполнены именно жалостью к нему – батыру, любимцу народа, к тому, чей голос пробуждает отвагу в жигитах, в женщинах же только любовь! А тут – на тебе, словно ребенка малого видит перед собой татарская красавица, и голос ее меняется, и уж нет в нем

презрения, но та же обидная жалость, от которой становится больно:

– Что же ты, акын, поверил старому лису? Как же ты, батыр, доверился тому, кто собственную дочь ради власти и выгоды разменять готов, а уж «духовного сына» своего, и вовсе в расход пустит, ежели ему выгодно будет, а того паче – если ему начальство прикажет! В одном прав отец мой: не хотела я замуж за хана твоего, не собиралась судьбу свою связывать с человеком, мне вовсе не знакомым, а готовилась наутро после того приема у губернатора, где мне суженого моего представить должны были, бежать с офицером из гарнизона – в Париж бежать. Да только сама же решение свое и изменила, не ради воли отца, не потому, что покровители его в высоких чинах так ему велели, а сама, по зову сердца. Когда увидела, какой он на самом деле. Когда поняла, какой он человек, и какие люди его окружают, а он все равно собой остается, как бы трудно ему это ни было.. Вот тогда и решила стать ему женой и другом. А что ты? Неужто и вправду решил, что интересен мне, что понравились мне звонкие, да бахвальные песни твои? Нешто в самом деле думал, что руки твои сильные волновали девичье сердце мое?..

– А разве – нет? Разве не о том говорили глаза твои, пел мне смех твой, и каждым своим словом разве не ты давала мне надежду, заставляя гневаться будущего супруга своего? – с жаром заговорил Махамбет, бросился было к Фатиме, но остановился, будто уперся в стену каменную – таким взглядом встретила она его порыв, не злым, не гневным, но жестким, истинно повелительным, как и пристало ханше.

– Совсем ты женщин не знаешь, Махамбет. Да, хотела я ревность вызвать в человеке, которого еще не знала, назло отцу, назло губернатору, назло ему самому, что согласился судьбу мою решать, да без моего на то согласия, вот и использовала тебя. Слышишь? Использовала! Был бы на твоём месте другой – ни на миг не задумалась бы, так же поступила бы, только бы отомстить тому, кто в мою жизнь так вмешался, только потому, что родился мужчиной. Играла я с тобой, акын, а ты из-за игры этой,

значит, изменником стал, бунтарем?! Жалко мне тебя!..

– Себя жалеи, женщина! – гнев вскипел в Махамбете, и только странное чувство, которому он и сам не мог найти названия, мешало ему броситься к ханше, схватить ее за плечи, сорвать с головы шапочку замужней, распустить, опозорив, волосы, и так, простоволосую, взять здесь же, под кровом ее мужа, а после перебросить через седло своего коня, и ускакать в степь, где он, мужчина, будет сам, единолично и по праву рождения мужчиной, решать ее судьбу. – Себя жалеи, отродье Хаввы, сподвигшей предка нашего, пророка Адама, мир ему, на первородный грех! Во всем ты ей подобна, и гореть тебе в аду...

Что-то неуловимо изменилось в лице ханши – будто скучно ей стало вдруг, и потеряла она всяческий интерес и к словам Махамбета, и к страсти его, и к самому нему, словно стал он никем, только одним из многих мужчин, протягивающих руки к ней... грязные, похотливые руки, все правота которых только в их силе, да власти, данной им их верой и государством. И прервала она Махамбета так же – скучным, бесцветным голосом, какой он порой слышал... от собственных жен:

– В аду, говоришь? Верно... если сможешь меня похитить, сделать своей – ад меня только и ждет, уверена...

Будто холодной водой окатили акына. Аж сердце остановилось. Почувствовал себя Махамбет вдруг последним из низких, нижайшим из подлецов, подлейшим из всех мужчин, что рождались на свет, и так ему захотелось в этот миг защитить свою любимую от... от кого?.. от таких же, как он сам?! Сам не понимая, что несет, он вдруг не заговорил – запел:

– Я предал в этой жизни, наверное, все и всех, но только не тебя, потому что все эти измены ради твоих глаз! Звал людей умирать за свободу от нового рабства, но на самом деле бросал их в пламя собственной страсти, рабом которой сам сделался. Я убивал – в надежде, что буду дарить новую жизнь с тобой, и зреть эта новая жизнь будет от моего семени, и в твоём чреве!

Уходи со мной! Брось тщедушного, жестокого хана, познай волю степняка, и я изменюсь ради тебя, и стану другим, тем, кто достоин тебя! Веры своей никогда не предавал, но если потребуешь – и от нее отвернусь, стану проклятым – только бы ты была рядом!..

В этот раз никто не прерывал Махамбета – сам прервался. Замолк, только заметив, как слеза катится по щеке той, кого он любил больше своей веры и чести. Она заплакала раньше, когда он сказал о новой жизни, которое ее чрево лишь единожды сумело зачать, чем не единожды попрекали татарку злые на язык степнячки на женских собраниях своих, укоряя в том, что не плодит ее лоно от семени высокородного мужа. Мужа, которому прочие его жены рожали множество сыновей и дочерей. Фатима плакала, и с каждой скатившейся слезинкой ее Махамбету казалось, что жизнь его становится на десяток лет короче. Но слезинок этих было немного – меньше, чем пальцев на руке, сильна была ханша, сдержала слезы, сберегла годы жизни акыну. Только вот сердце его беречь не стала!

– Волю познаю, говоришь? С тобой? Нет, и не будет мне воли там, где мужчина или царь и бог, или пыль под ногами женщины. Не умеете вы еще находить золото в умеренности что страстей своих, что предательств. Жизни новой я тебе не рожу – коли от мужа больше не смогла, а он у нас тот еще жеребец, хоть и называешь ты его тщедушным. В одно верю – на самом деле любишь ты меня. Словам твоим верю, потому как самое сильное это в тебе, умение слова в узор вязать, небо в цвет крови своей красить, и все, кто слова твои слышат, верят в них. И я верю. В любовь твою верю. А теперь и ты мне поверь..., – при этих словах Фатима, любимая жена хана Бокеевской Орды, чингизида Жангир-Керея, приблизилась к бунтарю и изменнику Махамбету, и ласково погладила его по щеке. Уж лучше бы не делала она этого – потому как слова, что прозвучали сразу после того, еще глубже вонзились в ставшее хрупким от мороза безысходности сердце, и разбили его на тысячи мелких льдинок. – Я мужа своего люблю. Не за силу рук, которые у тебя сильнее. Не за

уменье красиво слагать слова, он порой самую разумную мысль свою с трудом изложить может, особенно если взволнован, ты же в этом одарен свыше меры, и волнение твое дар этот только сильнее делает. А спроси за что – и не смогу ответить. Только одно знаю – когда говорит он мне о мечтах своих, о том, куда хочет привести народ свой, вижу я человека, которому нет равных среди батыров и акынов. И понимаю теперь, за что отец мой его не любит, почему в тебе надежды ложные пестует, по воле, не сомневаюсь, начальников своих. Никуда я с тобой не уйду. Потому что люблю только его, мужа своего. Как и должно настоящей степнячке! А ты со своей страстью мне только жалок. Вот тебе последнее мое слово!

Ошарашенный, стоял Махамбет, не зная, что и сказать, как ответить на такое откровение ханши. Подвел его дар, разбегались слова, как непослушные жеребцы-айгыры в табунах по весеннему гону, норовили лягнуть больнее в и без того израненное сердце, не желали строиться в ряд, в мысль, в смысл. Только и смог выдавить из себя, уж неведомо зачем – может, обидеть хотел из мести:

– Последнее слово? Разве не должно последним словом охрану звать, сарбазов, велеть вязать меня, изменника и предателя, казнить за дерзость?!..

– Должно? Если позову, если закричу – так и будет. Да только нельзя, чтобы тебя не стало, чтобы погиб ты сейчас. Муж мой этого не позволит. Знаешь ли ты, сколько писем мы вместе с ним составили генерал-губернаторам да чинам имперским, чтобы тебя отпускали из арестов и острогов? Ведомо ли тебе, как до сих пор любит тебя твой хан, и помнит, как лучшего друга своего непростого детства? А еще – знает он, что нужен ты, народу этому нужен, земле этой, что судьба твоя и без того нелегка, и потому нельзя дать тебе погибнуть, как бы ты сам не рвался на встречу собственной гибели? Хотя, скажу тебе честно – прознай он о твоей дерзости проникнуть в мой покой, то никакая память о лучших ваших годах, никакое признание важности твоего дара для будущего народа нашего не спасли бы тебя. Не от ревности

глупой, но от страха за мою жизнь и честь велел бы казнить тебя, и тем самым обрек бы самого себя на мучения. А самое главное – замысел его великий в тебе нуждается, и как верная жена его, я все сделаю ради успеха моего мужа. Так что – поди вон, Махамбет, изменник и предатель, поди прочь из-под крова преданного тобою хана, и живи с разбитым зеркалом чести своей в своем собственном аду. Вон!

Фатима вытянула руку в сторону выхода, голос ее дрожал от гнева, и Махамбет впервые в жизни повиновался женщине так, как никогда ранее этого не делал. Без единого слова вышел он из покоев ханши, как призрак, прошел через весь лагерь, и никто не остановил его, будто и не было его вовсе, а так, аруак-привидение шло меж живых людей, а те боялись признать его реальность и само существование.

Шел он призраком истинным, мертвым, без сердца, потому что разбито оно было нынче в живом теле. Вышел из ханской ставки, дошел до тайного места, где оставил коня, сбросил дурацкий шапан с нашитыми эполетами, шапку... Как добрался до Исатая – уже и не помнил. Помнил только, что с каждым шагом, что приближался он к лагерю повстанцев, все сильнее терзало его одно страшное, могучее и черное желание: убить Жангирхана!

+ + +

– Убить Исатая! И Махамбета казнить смертью страшной, чтоб неповадно было впредь никому против ханской воли идти! – брызгал слюной Карауылкожа, а хан хмурился, но молчал.

Речь зятя и однокашника его не то, чтобы беспокоила – мнение Бабажанова знал тут каждый, и призывы его слышал не раз, но раздражала. Жангир-Керей устал, и хотел быть сейчас не тут, на этом мажилесе-совещании, но рядом с любимой женой. И не только ради утех любовных, но за-ради простого, человеческого разговора с душой, не жаждущей от него милостей, земель, шапанов да мяса с ханского стола, а имеющей то же видение, что и он, разделяющей мечты его. С душой, что истинно понимала

его, и была единственной таковою на все его ханство, на всю Бокеевскую Орду.

Осада ханской ставки, требования бунтовщиков созвать курултай биев – все это создавало неудобства, вызывало возмущение знати, но самого хана, казалось, вовсе не тревожило. Возможно потому, что он это предвидел. Знал, что перемены вызовут возмущение. Догадывался о том, что раздача земель знатым биям и приближенным из-за жадности да глупости хотя бы нескольких из новых дворян, приведет к бунтам. Но не бунтов боялся Жангир-Керей, сын хана Бокея и воспитанник просветителя Андреевского. Более всяческих восстаний и недовольств опасался хан вмешательства Империи в дела степняков. Жангирхан знал, что только это может сделать его настоящим врагом собственному же народу, и потому стремился как можно скорее покончить с восстанием. Для этого он уже поручил доверенным людям своим направить послания к самым почтенным биям и старостам, и собрать курултай, как того хотел в своем послании к нему Исатай. Курултай состоится непременно, и на нем же состоится примирение!

Почти обо всем уже было договорено: вот уже месяц без устали между ставкой хана и кочевьями биев и старшин быстроногие тулпары носили доверенных гонцов, подготавливая мирное соглашение, которое должно было покончить с бунтом, а главное, развязать хану руки в самом важном из предстоящих ему на пути грядущих перемен деле – укрощении собственной знати! В любимейшей среди книг, что были подарены ему Андреевским, в «Государе» Макиавелли, прописана была сия стратегия, и хан знал, что таких, как этот же Карауылкожа, следует первыми бросить на закланье новому порядку, дабы прочие умерили свою алчность. Хотя...

Следует так же признать, что это разобьет ему сердце. Бабажанов был ему не просто родственником, он был его другом, наперсником детских игр и забав, с тех еще времен, когда они были заложниками-аманатами от степных ханов при дворе астраханского генерал-губернатора, и даже мысль, что

Карауылкожа сам своей непомерной жадностью привел к этому, не давали забыть пухлого, всегда веселого, острого на язык и готового на любую проказу мальчишку, которого любили все, даже русские дворовые девки, прозывавшие того не иначе как «кайсак-колобок». И «колобок» этот был не то, чтобы плохим человеком, вовсе нет! По-своему, очень по-своему, он был даже добрым и верным. И умным. Жангир-Керей помнил, как толстый мальчишка, казавшийся таким бесполезным вначале их пребывания в Астрахани, в особой квартире, обустроенной для степняцких аманатов, из своих карманных денег дал взятку старому солдату, чей сын верховодил среди уличных вощунчиков, главных бузотеров среди дворовых мальцов, и в результате никто и никогда не смел даже плевать в сторону узкоглазых барчуков. А ведь поначалу не только плевались, но и грабить пытались на манер взрослых барымтачей, потому как считал русский малец, наслушавшись от старших своих, что кайсаку не место в городе. Это «колобок» устроил их первый поход в заезжий табор, к цыганским девкам, хотя и первым, в отличие от своих товарищей аманатов, прилежных в учении, но скромных по отношению к женщинам орысов, познал ласки дворовых девок, охочих до подарочков, а порой и звонкой монеты.

И вот «колобок» вырос. Вырос и его аппетит, а ум, казалось, остался таким же. Острым, но маленьким, заменив недостающее хитростью, выгодной здесь и сейчас, но недалекой, и даже вредной для дальних планов своего правителя. И теперь правителю следует наказать своего друга детства – ради будущего своего народа. Своих детей. А значит, так тому и быть. Быть мажилису биев, быть мирному договору с бунтовщиками, и ценой одной судьбы хоть и близкого, но вредящего нынче ему человека, быть лучшему будущему для степного народа, чья судьба нынче неразрывно связана с силой, намного превосходящей ее собственную... Но не всегда же так будет! Разве не пали Рим и Византия, причем под копытами наших предков-гуннов? Разве не Великая Степь наклоняла перед собой в подобострастном поклоне великую империю Цинь, и разве не кровь Великого Кочевника, чьим именем пугали монархов, течет в его

жилах? И что такое судьба одного «колобка» перед видением Великого Будущего, которое должно начаться со Спасения одного народа? Тяжела ханская ноша, но ради будущего Орды, он должен делать то, что вознамерился...

+ + +

«Ради моего будущего я должен это сделать!» – думал Карауылкожа, старательно выводя при свете тусклой лучины подпись, похожую на ханскую. Масляная лампа в его юрте имела, но привлекать к себе внимание в этот поздний час сразу после совета в ханской юрте, где сам хан его при всех унижил, прервав речь и чуть ли не прогнав с мажилиса, ярким светом не следует. Еще подумают – кому это опальный зять письма пишет, донесут! Рисковать «колобок» не любил. Хватит и того, что гербовая бумага из запасов ханской канцелярии была изъята в нарушение всех правил и привычного ведения дел, за мзду, данную писарю-татарчонку, приехавшему вместе с новым муллой в начале года из Оренбурга. От него же «колобок» и прознал о казачьей сотне, что, согласно его тайной договоренности с генерал-губернатором Перовским, стояла в схороне неподалеку от ставки, дожидаясь указа от хана вмешаться и расправиться с бунтовщиками.

Все хорошо сделал Бабажанов, обо всем озаботился, только тамги ханской не достал, да не беда, все равно большинство этих орысов читать-писать разумеют с трудом великим, а уж про казаков и того сказать нельзя! Главное – чтобы бумага была гербовая! Иначе никак!

Никак иначе нельзя, ведь хан уже решил, что соберет курултай биев, а значит, именно он, родной зять, ближайший друг детства, и станет тем, чья голова полетит на жертвенный алтарь соглашения с бунтовщиками. Быть жертвою ханских планов по созиданию нового мира Карауылкожа не хотел ни коим образом. Новый мир, если и быть ему, нуждается в таких как он – цепких, хватких, знающих цену человеческой верности, и цена эта меряется золотом, отарами, табунами, а того паче – властью

государственной. А кто в степи нынче власть? Верно – Империя! И Империя желает, чтобы именно она железной рукою навела порядок, показав всем, кто в степи хозяин. А ханские потуги разрешить дело миром никому не нужны. Не миром и договорами, но сталью, свинцом и кровью ставится власть империй в человеческой истории, и этот урок аманат-гимназист Бабажанов вынес из своих занятий лучше всех иных. Заложник, выданный Империи собственным отцом, он знал цену и родственным связям, и властным амбициям, и идеалам, что существовали лишь на словах. Нет ценности превыше своей собственной жизни, и нет ничего важнее собственного благосостояния там, где власть в руках империй! Империи же награждают верных им, и возвеличивают согласно заслугам перед ними, но никак не перед народами, или историей.

«Колобок» подул на чернила, потрогал пальцем аккуратно подделанную подпись хана, убедился – высохло. Скрутил гербовую бумагу в свиток, спрятал за пазуху, задул лучину, и вышел из юрты. Ему еще предстояло добраться до ущелья меж холмов, где спрятались казаки. Ему предстояло спасти себя – ценой разрушения замыслов своего хана.

+ + +

Сотня атамана Яблочкина, казака яицкого, смелого да отчаянного в бою, состояла из ровных ему во всем – от истовой веры в Господа по старому обряду, до неистовости в бою. Сотня, в которой сын сменял отца, и каждый, кто погиб в многочисленных сражениях, был сменен если не членом семьи своей, то знатным бойцом из своей же артели, с честью прошла с ним войну с французами и Азов, под началом самого Перовского. Потому, несмотря на приверженность свою старому обряду, облечен был атаман Яблочкин особым доверием бывшего командира, ныне – генерал-губернатора в Оренбурге. И на доверие такое отвечал редким уважением и стараньем, какое не каждый никонианец от старовера дождется. Потому, получив тайный приказ собрать сотню, да не приметно выступить и схорониться недалеко от летней ставки кайсацкого хана Жангира, немедля приказ сей в

исполнение и привел. Ни на миг не сомневался достойный атаман в командах и военных планах бывшего командира своего, одно только смущало старого реестрового казака – буйная, да только не нюхавшая никогда пороху в боях молодежь, что пришла на смену старшим своим, была нетерпелива, в схороне боевом стоять не приучена, и недельное стояние в засаде уж изрядно утомило всех. Особенно самого атамана, в который раз охаживавшего плёткою семихвостой спину очередного парубка из новеньких, затеявшего от буйства крови да характеру драку в лагере.

Потому, хоть и было уж за полночь, и не случись этой оказии, собирался он уж почивать в своей палатке, устамши от забот трудного дня, все ровно обрадовался он появлению посланника и зятя ханского, Карауылкожи Бабажанова, с приказом от самого Жангир-Керея – немедля выступать, с тем, чтобы разбить бунтовщиков, осадивших ставку. На радостях даже не обратил внимания, что нет у письма, написанного на гербовой бумаге, какой обычно хан пользовался, жангирхановой тамги, а подпись ханскую он и без того различить не смог бы, потому как, то была страшная тайна атаманова – грамоте обучен был он старым денщиком еще во французскую кампанию, читал плохонько, писать же и вовсе не умел, выучившись только криво-косо имя свое выводить для подписей в реестрах солдатских. Но все это сейчас для него не имело ровно никакой значимости – приказ, что он держал в руках, содержал желание хана, совпадающее с желанием не только его самого, но всей его сотни. Выступать!

+ + +

Ранним утром сотня казаков, тихо, незаметно, как научило их не одно поколение предков, выживших в этой степи за полторы сотни лет, встало на позицию, как сказал бы генерал Перовский. А сотник Яблочкин, как в молодости, при Азове, только хмыкнул бы, правя стальной наконечник пики, готовясь в бой. Нынче правленных пик была добрая сотня, и все под его началом, готовые вонзиться в ряды кайсаков, не ожидающих никакого нападения, и мирно спящих в том бедламе, что степняки именуют осадю. «Ну разве так осаду ставят?» – думал Яблочкин,

наблюдая лагерь бунтовщиков, казавшийся обычным аулом, разве что баб да детей маловато. Нет, не воевать пришли эти степняки со своим ханом, коли так беспечно расположились, и зря хвалят вождя ихнего, Исатая Тайманова, коли с такой армией, да самого правителя, что под защитой империи стоит, осаждать удумал! Вот сейчас и прознает силу имперскую – одной сотни хватит ему, чтобы покончить со всем бунтом здесь, и сейчас! Только для начала след пищали в ход пустить – по опыту своему знал Яблочкин, что боле всего смущает кайсака огнестрел, ему имперским веленьем недоступный. Правда, зять ханский, Бабажанов, упредил, что у бузотёров могут оказаться свои пищали, но числом малым, да все порченые, так что беспокойству не место, а место войну воевать, порядок восстановить, а там и за наградою, по реестру положенную, можно Перовскому писать, уж не обидит благодетель старых боевых товарищей!

Первый залп казацких пищалей напугал разве что ворон – в рассыпную спал лагерь бунтарский, безо всякого порядку, как османова осада при Азове, и без строя, а вот на конях оказались они раньше, чем для второго выстрела пулю в ствол вогнали казаки. А уж когда в ответ не из редких стволов, но добрых полусотни пальнуло, и трех бойцов на таком расстоянии убило, и вовсе растерялся атаман. Ненадолго, видит Бог, на миг какой-то, а уж потом собрался, солдатская душа, да приказал молодняку с пиками во весь опор скакать на лагерь, а трем десяткам из стариков с пищалями их огнем прикрывать, пока не схлестнутся в бою кайсак с казаком. А там уж, как Бабажанов клятвенно обещал, и ханские сарбазы должны подоспеть, чтобы зажать бунтарей в клещи, и как клещей в шинели походной – раздавить безо всякой жалости!

+ + +

Показалось! Не иначе – привиделось, сквозь муть, застилавшую глаза пеленой боли, обиды, острого чувства собственной ничтожности, тяжким покрывалом накрывшей чело, и... нет, это не слезы! Только не они! «Я не плачу!» – беззвучно крикнул сам

себе Махамбет и протер грязным рукавом глаза. Но мутное видение не проходило: воды ручья окрасились алым, будто не родниковая влага, но кровь, свежепролитая из ран, текла по небольшому руслу, окрашивая камни в цвет боя и смерти.

Сжав кулаки, Махамбет поднялся с колен, и только сейчас понял, в каком неудобном положении провел последние несколько часов – сколько, уже и сам не помнил. Спина и ноги затекли, плечи ныли от напряжения, в котором, оказалось, пребывали все это время, шея болела, будто ее сдавил великан-батыр на борцовском майдане. Сердце, которого, казалось, не было, вдруг заныло от беспокойства. В шорохе листы карагачей, растущих вдоль русла, чудился ему тревожный зов... И сквозь шорох этот он наконец расслышал – выстрелы!

Вскочил, и отступила, сбегала куда-то боль от пережитой и такой невыносимой печали. Вдруг неведомо откуда взявшейся силой наполнились коренастые ноги, не взбежавшие – взлетевшие на вершину холма, чтобы показать прояснившемуся взору случившуюся беду: на лагерь напали!

Тулпар Махамбета, подаренный ему еще жеребенком перед самой смертью отца, был обучен различать свист своего хозяина, и теперь мчался, будто не ощущая зацепившейся за веревки пут жерди, а когда она все же зацепилась за какую-то телегу, мотнул могучей головой, и вовсе разорвал крепкие веревки, и в несколько мгновений долетел-доскакал до ожидавшего его на вершине пригорка акына. Еще мгновение понадобилось Махамбету, чтобы вскочить на спину, не обремененную седлом, ухватиться за шею, и броситься вперед, туда, где схлестнулись жигиты Исатая с невесть откуда взявшимися казаками.

Не доскакал – клич-уран ханских воинов послышался слева, со стороны осажденной ставки, и оглянувшись, Махамбет принял решение, повернул коня в сторону, откуда на лагерь мчались почти три сотни бойцов с пиками наперевес. По пути наклонился, подхватил с земли ту самую жердь, которую волочил его конь, и с криком рода беришей «Агатай!» помчался, выставив жердь с

развевающимися на ней обрывками веревок, словно копье-низу, прямо на нападающих ханских сарбазов. Не оглядываясь, только по топоту копыт за спиной, понял – услышали! В этой битве он будет не один!

Не один воин из числа преданных хану выходил в свое время с Махамбетом на борцовский поединок-курес. Не один из них бывал побежден им, случались и такие среди них, кто сами побеждали акына-батыра. Но никто и никогда из ближайшего ханского окружения, кто был с Жангирханом еще с тех времен, когда дружба еще связывала нынешнего предателя и его хана, не сходились с сыном Утемиса в смертном бою.

Жердь ударила в грудь скачущего впереди отряда ханских воинов борца и батыра Кайсара, одного из немногих, кто мог похвастаться тем, что укладывал Махамбета на обе лопатки в борцовском поединке. Мог, да не хвастался никогда, скромн и молчалив был Кайсар, и сейчас молча принял удар, только рот открыл, чтобы воздуху хватить, потому как весь он был выбит от страшного удара о грудную клетку, даже жердь треснула в первой четверти своей, и сломалась. Махамбет не успел выбросить обломок, разгоряченный конь нес вперед, и острый в обломившемся месте конец жерди вошел в живот ханскому бойцу Кайсару, пробил внутренности, зацепил краем позвоночник и вышел черным от крови острием из спины, у самого хребта. Кайсар, будто удивившись, посмотрел на жердь, торчащую у него из живота, затем поднял расширившиеся от изумления глаза на Махамбета, встретился с ним взглядами, и так же молча, медленно, начал валиться вбок из седла.

– Прости, Кайсар! – только и прошептал сын Утемиса, и успел выхватить пику из слабеющей руки умирающего от страшной раны батыра, прежде чем тот рухнул из седла на землю.

Бой будто замер, остановился, не успев начаться. Ханские воины, с такими знакомыми лицами, изумленные, уstraшенные, смотрели на Махамбета расширившимися от ужаса глазами. Огляделся сын Утемиса, посмотрел назад, на своих сторонников,

повстанцев, вооруженных не жердями, но пиками да клинками, и увидел, как те отводят глаза, не желая встречаться с ним взглядами. Впервые это случилось с самого начала восстания, впервые степняк-батыр убил своими руками своего брата-батыра, того, с кем делил беспармак за ханским дастарханом, с кем делил славу постоянных победителей на свадебных играх и праздниках. Там, за их спиной, казаки убивали их братьев, и это казалось делом привычным людям, родившимся в жестокое время, в жестоких краях. Но убийство своего собрата бериша только за то, что тот остался преданным своему хану, чингизиду, торе... даже повстанцев это смутило. Но – не Махамбета, сына Утемиса, впервые пролившего братскую кровь в этой войне. Повернулся он к своим, закричал, и казался этот крик воем не человека, но раненного зверя:

– Не я, братья, эту войну начал, слышите? Не я! Не я послал их против нас с пиками! – кричал он, указуя пикой, выхваченной из рук убитого им Кайсара, в сторону будто застывших ханских воинов. – Это Жангирхан послал братьев убивать братьев! Это не я – Жангирхан убил Кайсара, отправив его на этот несправедливый бой, заставив выйти против меня с оружием! Не переговоров хочет хан – войны. Не будет никакого мира на этой земле, пока жив хан! А значит всякий, кто встанет на нашем пути – враг! Ясно вам?

Не отвечали повстанцы, не поднимали глаз, опустили концы пик к земле, и только сдерживали коней, нетерпеливо бивших копытами после внезапной остановки в самый разгар боевой скачки. Повернулся тогда Махамбет, сын Утемиса, к воинам хана, заговорил горячо:

– Хан отправил вас убивать нас, ваших братьев, пришедших сюда за справедливостью! Так кто вы теперь в своей верности тому, кто предал наш адат? Батыры степные, или верные псы своего хана?!

Гнев разгорался в ответ в глазах ханских бойцов. Отборные батыры, поклявшиеся жизнью в верности чингизиду, они

направились сюда по приказу самого хана, прознавшего о внезапном нападении казаков, чтобы прежде тех схватить Исатая и Махамбета, не дать их убить, но живыми привести на ханский суд. Теперь же все повернулось на самую страшную для всех тропу, скакать по которой – значит сеять смерть и дальше. Губайдулла Ахмедов, воин из рода Байбакты, редкостный силач, на потеху разрывавший голыми руками грудную клетку быка и ударом кулака валивший с ног взрослого верблюда-нара, один из немногих, кто подобно Кайсару побеждал Махамбета на борцовском майдане, медленным шагом повел коня вперед, вслед за ним выступили и прочие. Встали стеной перед телом павшего Кайсара, выставили вперед пики. Губайдулла заговорил:

– Не тебе предательством попрекать, акын! Не будь ханской воли, за Кайсара лично бы тебя разорвал, сердце бы твое черное вырвал...

– Нет у меня сердца, Губайдулла, слышишь, нет! – закричал, прервал его Махамбет. – Давай, ИДИ, РАЗОРВИ, УБЕЙ МЕНЯ...

Покачал головой силач, и будто врос в землю копытами коня. Застыли и окружающие его батыры.

– Все здесь – дело рук одних предателей. Поди теперь разберись, кто из вас, предавших друг друга ли, свои клятвы ли, нынче прав. Не будем мы сегодня братьев своих убивать. Но в сторону хана нашего и смотреть не думай. Уходите прочь, пока волею хана вам это позволено! Отсюда вам далее – не пройти!

Махамбет почувствовал, как кто-то тронул его за плечо. Повернулся резко, в ярости от собственного бессилия перед правотой того, кого всегда считали сильным, да глупым, в отличие от него, велеречивого, акына и воина, любимца всей орды бокеевской...

– Там... Исатай с казаками бьется... велит всем отходить от ставки...

Смотрит в глаза Исмаилу, бойцу степному, Махамбет, сын

Утемиса, а видит себя, натворившего в ярости своей столько ошибок, что еще одной уже допускать нельзя – сам себе не простит! И срывается с места, с безумным воплем: «Алга! Агатай! Исатай!» – туда, где слышны выстрелы, где под казачьими пулями падают, сраженные, степняки, сбившись вокруг окруженного Исатая.

+ + +

Сотню всадников, скачущих во весь опор на казачью позицию, Яблочкин заметил издали. Как раз привелось – пищали только перезарядили, и пристрелялись уж довольно, так что с приказу «пли!» аж десяток идущих в атаку степняков упали с коней, чтобы больше не встать, прочие же смешались, остановились, давая время перезарядиться.

Второй выстрел был еще удачнее – почти два десятка из оставшихся в живых нашли свою смерть, но вот оставшиеся уже не мешкали, а будто вдохновленные яростью от гибели товарищей своих, еще резвее погнались коней прямо на него, Яблочкина, позицию, угрожая сбить весь его тактический план!

+ + +

– Убьют ведь, у них пищали! – кричал сквозь грохот бешеной скачки Исмаил, тот самый, что принес ему приказ Исатая об отступлении. Впрочем, ни одна пуля еще не задела его, чего не скажешь о самом Махамбете, которому один кусок свинца из пищали пробил насквозь плечо, второй пронесся у головы, задев мочку уха и вырвав ее напроць, так что кровь теперь замарала всю половину лица и шею, отчего казался Махамбет еще страшнее.

– Не сумеем прогнать этих, что с пищалами там спрятались – все умрем. А так хоть сумеем дать уйти Исатаю с его отрядом. Понял? – закричал в ответ акын во все горло, Исмаил кивнул в ответ, еще сильнее пришпорив резвого степного коня.

Там, внизу, Исатай, пользуясь тем, что Махамбет отвлек от него огонь казацких пищалей, начал уже выправлять положение, сумел

прорвать вражескую линию и теперь уходил... прямо под прицельные выстрелы тех, с пищалями, что укрылись на пригорке, и которых теперь нужно оттуда выбить, если понадобится, ценою собственной жизни...

+ + +

Яблочкин впервые за долгую свою солдатскую карьеру был в растерянности. Ни турок-осман при Азове, ни француз-лягушатник такого не творили на его памяти – идти на самоубийство, прямо под пищальные выстрелы, рассчитывая... на что?

– Пли! – заорал он, надеясь, что вот теперь-то повернут, отступятся...

+ + +

Кончилась удача гонца Исмаила – прямо под сердце вонзилась свинцовая пчела, ужалила, сбила с коня, и еще с десятков таких же злых жужжалок нашли свое пристанище в телах человеческих. Одна крепко засела Махамбету в мякоть бедра, по счастью, не задев кровеносную жилу, но причиняя адскую боль, усугублявшуюся бешеной скачкой.

Скачкой, которую оставшиеся в живых не замедлили ни на миг, и только в единый голос из полусотни ртов ревела восставшая Степь: «Агатай! Алга!»...

+ + +

– Да что же это за дьяволы такие, так их... прости мя Господи!.. – присовокупил истовый христьянин, казацкий атаман Яблочкин забористое богохульство, и понял, что надо уходить. Со стороны ханской ставки отряды вроде бы двинулись, да только не слышно оттуда звуков сражения. Эх, предал Бабажанов со своим ханом, наобещал пустое, а теперь проливай тут христьянскую кровушку за этих кайсаков!

Старый атаман понимал, что времени у него теперь будет только на один выстрел, после чего оставшиеся в живых всадники

достанут, сметут его строй, схлестнутся в рукопашной, а не для того сюда он самых старых да метких ставил, в стрелковую, понимай, позицию, чтобы в рукопашной зазря в расход пуцать! Или же можно уйти. Уйти самим, позволив заодно уйти и остаткам бунтовщиков, ну так какое ему с того огорчение, ежели приказ командира своего, генерала Перовского, он уже и так выполнил? Велено было осаду с ханской ставки снять? Извольте принимать ставку без бунтовщиков в округе. Чего лучше желать, коли сами кайсаки обязательств своих исполнять не стали, оставив казачью сотню одних супротив всей армии повстанцев баталию держать? Так что...

– Аааатступай! – зычный крик атамана прозвучал вовремя – старые стрелки только собирались вновь заряжать, и теперь спешно вскакивали на коней, стараясь закрепить верные, но тяжелые и старые свои пищали у седла, потому как предстояло еще в галопе уходить от этих дьяволов, не убоявшихся смерти, и ставших из мишеней – охотниками...

+ + +

– Уходят! Уходят, Махамбет! – кричали ему радостно чудом оставшиеся в живых жигиты числом менее полусотни, но он в ответ лишь махнул рукой – Алга! Не дайте им остановиться и снова начать стрелять! Алга! Агатай!..

Жигиты, повинувшись приказу, бросились вперед, конь же под Махамбетом вдруг споткнулся, сбил шаг, и внезапно рухнул на бок, примяв под собой ногу всадника. Ту самую, в которой сидела пуля. В угасающем от страшной боли сознании, и без того ослабленном потерей крови от ран истерзанной плоти, всплыла единственная мысль, и была она не о любимой женщине, разбившей накануне сердце, и не о любимом побратиме и вожде, чей отход сумел прикрыть ценой стольких жизней. – Пронес ведь... сколько пуль в себя схлопотал, а пронес... до конца... вместе...

Последняя мысль степняка с разбитым сердцем, прежде чем его покинуло сознание, была о его коне.

+ + +

Обращение Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова к его пр-ву, генерал-губернатору Оренбурга, его сиятельству графу Василию Алексеевичу Перовскому:

«Просьбы и жалобы наши никем не принимаются, имущество у нас отнимают и мы, точно иностранцы, страшимся всего, несмотря на то, что принимали присягу на верноподданство Государю Императору. Но так как Ваше Превосходительство представляет здесь лицо главного начальника, то я почел довести до Вашего сведения и просить об откомандировании к нам правдивых чиновников, которые вникли бы в наше бедственное положение и произвели по жалобам нашим всенародное исследование. Особенно мы желаем, чтобы жалобы наши были исследованы господином подполковником Далем»

Резолюция оренбургского губернатора: «Подполковнику Геке незамедлительно выступить с экспедицией в Бокеевскую Орду с тем, чтобы усмирить кайсацкий бунт, виновных желательно взять заживо, и в кандалах сопроводить в острог Калмыковской крепости для дальнейшего примерного наказания. О послание сем г-ну Далю ни в коем случае не упоминать, сохранить в архиве под строжайшею тайной от всякого, не входящего в число военных участников кампании по усмирению...»...

+ + +

*У кого вынослив конь,  
сам тот солнцем опалён.  
Панцирь слаб перед стрелой,  
коли та стрела имеет  
наконечник–латобой.  
Всех коней хоть чистокровней  
и резвее сивый конь,  
но, не будучи подкован,  
на камнях бесславен он.  
Не надейся, что ордынца*

ты загубишь без следа,  
а свою стрелу-возмездье  
не вонзит в тебя орда.  
Пестрый камень есть в горах...  
Кто страдает, тот в слезах.  
Если кто-то смел в речах,  
то не значит, что герой:  
днем бравирует иной,  
а вот ночью он боится  
выйти, чтобы помочиться.  
Если сын рожден достойным  
всех достоинств отца  
и характер свой бойца  
проявил на поле брани,  
то ни просьбы о пощаде  
или милости от дряни, –  
хоть ты вырви ему печень, –  
не услышишь в его речи.

Махамбет Утемисулы – «У кого вынослив конь» Romanlar